ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

2

1996

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Миколавна — больная и одинокая старуха. Таким людям с недавних пор собес нанимает помощниц. Для Миколавны это егозливая соседка бабка Дуня…

- Борис Екимов
  - ○

Борис Екимов
МИКОЛАВНА И «МИЛОСЕРДИЯ»

Который год уже по утрам в зеленой глухой чащобе вишен и слив, что стоят вдоль забора, поет садовая славка. Солнца восход. Прохлада и тишина. И вот зажурчала негромкая птичья песнь. Это — славка. Голос ее негромок, словно тихий ручей, журчит и журчит. Комочек легкого пуха: с ветки на ветку, с ветки на ветку, что-то склюнет — и снова журчит. Никто ее не тревожит.

Окраина поселка. В нашем дворе — покойно. В соседском и вовсе глухая тишь. Там старая Миколавна живет одиноко.

За высоким забором, за зеленой стеной деревьев ни с улицы, ни с нашего двора Миколавну не видать. Тем более что ходок из нее — никакой. Телом тучная, тяжелая, с трудом она движется на подпорах: костыль да клюка, а чаще — табурет, который толкает перед собой, на него опираясь. Горе — не ходьба. И потому дороги ее коротки: от дивана, на котором ночует и днюет — то лежа, то полулежа, — до кухонного, обеденного же, стола. А если по летнему времени на волю захочется из жаркой комнатной духоты, то с кряхтеньем и стонами выбирается Миколавна на крыльцо, надежно укрытое от сквозняков стеклянными рамами и дверями. В летнюю пору она подолгу сидит в этом стеклянном прогретом скворечнике, вздыхая и охая, порою что-то мурлычет. Песни ее — словно птичьи, слов не понять. И сама она будто большая старая птица, облезлая, обескрылевшая, еле живая, прячется, словно в дупле, в глухой огороже стен, высокого забора, густой зелени.

Только я слышу ее. Порой она меня окликает:

— Милосердию мою не видал?

— Не видал, — отвечаю ей.

— Увидишь, перекажи, пусть зайдет. Все мыкается.

«Милосердия» — это Дуня ли, тетка Дуня, а для молодых — давно уже бабка Дуня, которая живет против нас, через улицу. Она — казак вольный, в вечных походах. Ранним утром торопливо шлепают ее просторные калоши через улицу, в соседский двор.

— Миколавна! — окликает она. — Живая?..

— Слава Богу, дышу… А всю ночь промучилась. Лишь чуток комариным сном задремлю — и враз меня жаром осыпает…

И пошли речи известные, стариковские: о ночных хворях да недобрых снах.

С веранды моей видна лишь крыша дома соседского да верх

стены. Все остальное заслоняет высокий забор да зелень. Но голоса и речи ясно слышны. И словно вижу картину привычную: на крыльце, на низкой скамеечке, — большая оплывшая Миколавна в просторной ночной рубахе, а рядом — тетка Дуня, худая и востроносая, словно воробей. Она не присядет. Костлявые черные ноги в просторных калошах покоя не ведают, с утра тем более. Сучит тетка Дуня ногами, уже занудившись. Соседкиным жалобам сострадает участливым быстрым говорком:

— Какая беда… Какая беда… Это надо… Беда так беда. — И успевает новости выложить и собственное, больное: — Таиса Абрамкина своего прогнала. Капеля он, говорит, и боле никто. Поросенок опять не жрет, гад. Била его, била. Кобель гавкать не стал. Ночью, слыхала, кто-то возле двора шалался, а он, сволочь такая, молчит. Нажрался и спит, нет ему горя. Ныне дам ему порки.

Беседа течет обычная, она не смолкает. Но слышится по двору шлепанье тетки Дуниных калош. Помойное ведро убрать, свежей воды принести. Летят короткие приказы с крыльца:

— Постановь… Прибери в сарай. Ведрушку — на крылец. Подотри… Подай…

Шлепанье калош убыстряется. Вихревыми кругами носится тетка Дуня по двору и скоро убегает, на ходу взахлеб передавая дела предстоящие:

— Макарьевна из проулка, ты ее знаешь, они кур помногу держали, вроде помирает, надо бежать глядеть. Мишка вчера бутылок привез два мешка, а в нашем магазине их не берут. Сваха переказала…

И вот уже калоши зашлепали вон со двора. Снова тишь. Лишь Миколавна в голос бурчит:

— Прозвонила — и нет ее… Коза комолая… Черти ее поджигают, лётом летит… Милосердия называется.

Это уже — для меня, чтобы я посочувствовал.

Спустя час ли, другой услышу я зов:

— Покличь мою милосердию… Увеялась…

Но где ее сыщешь, бегучую тетку Дуню? Надежный замок на воротах. Кобель хрипло лает, видно, пошла впрок наука. Хозяйка же — вольный ветер.

— Милосердия называется… — желчно цедит в своем дворе Миколавна. — Денежки любит получать.

— Не глядел? — порой снова окликает меня. — Нету ее?

— Не видать, — отзываюсь я.

«Милосердия» — это тетки Дунина официальная должность при хворой соседке. Миколавна — человек одинокий. Таким людям с недавних пор собес нанимает помощниц. Оплата —

сущие копейки, отсюда и круг забот: заглянуть раз-другой в неделю, хлеба купить да молока; иная полы подотрет — спасибо и на этом. Но старые люди мудрят: всяк — свое. Отсюда и споры. Обязана «милосердия» с огородом помогать или не обязана? Щи варить?.. В хате прибирать?.. Обязана — не обязана… Деньги им платят.

У Миколавны за короткий срок этих «милосердий» сменилось трое или четверо. «Обязана… Не обязана»…

— У людей милосердия грядки поливает, — сообщала тетка Дуня. — А твоя процедит скрозь пальцы — и ушла.

— У людей — стирают, а твоя — с маникюром, культурная.

Кончилось это понятным; других отстранив, тетка Дуня заступила на должность при Миколавне: носить из магазина хлеб, молоко, получать хоть и малую, но копейку. Выслушивать укоры:

— Ушла и в тину села. Не дошумишься. Так и скачешь, так и скачешь.

Тетка Дуня и впрямь скачет весь день, словно воробей, промышляя. Востроносая, ростом невеликая; из-под заношенного платка быстрый глазок ее шныряет туда да сюда, словно воробьиный, ища поживу.

— Тетка Дуня! — окликнешь ее. — Тебе не надо…

— Надо, надо… — не даст она и закончить и скачет ко двору.

Траву ли скосишь, яблоки-паданки некуда девать, вяленая рыба год провисит на чердаке, пожелтеет, старую крупу шашель поточил, арбузные корки ли, капустные листья — все тетке Дуне идет.

— Кабан пожрет, — говорит она. — Куры поклюют.

Порою и не зовешь, она сама углядит:

— У тебя терновка падает, либо не нужна? Я заберу, — и тащит к себе еще зеленую кислую ягоду.

— Картошку старую заберу… Мелкую тоже заберу…

Выйдешь ли за двор, на улицу, глядишь — волокет чего-нибудь. С мешком ли гнется, на тачке везет.

— От Ильченки, — сообщает. — Груши падают, черномяски. Порежу да посушу. У меня груш нету, негде приткнуть.

— От Лаптевых… Огурцов у них нарастает, не успевают сбирать. Мне и желтяки сойдут. Своих бы насажала, да негде.

А уж от Миколавны с пустыми руками не выйдет. Какую-нибудь плошку ли, банку несет. Старые щи, засохший хлеб… Залежалось ли что, прокисло — все впрок птице Божьей.

К вечеру тетка Дуня устает. Долог день летний. Устанет — уже не скачет. Годочки свое берут. А их уже — семьдесят. Ширк да ширк калошами — к Миколавне бредет.

Миколавна же порой вечерней, когда в стеклянном

скворечнике дышать нечем, спускается во двор на волю. За день она выспалась, отекла ли, припухла ото сна. Но сидит гоголем, рассказывает про телевизор: что показывали да как. Главное, конечно, кино. Сначала была «Мария», потом «Роза», теперь «Тропиканка». Миколавна глядит эти фильмы дважды: утром и вечером. Помнит их наизусть. А тетке Дуне всегда недосуг. Утром — в бегах, а вечером — засыпает. Включит телевизор — и заснет перед ним. Порою за полночь светят синим ее окошки. Это — включенный телевизор. А хозяйка спит. Все проспит, а узнать любопытно: про Марию, про Розу они ведь, считай, свои. Спасибо Миколавне, она доложит в подробностях, кто, как и с кем.

Течет неспешный рассказ.

Просторная скамейка возле крыльца. Во дворе — вечерние тени. Тетка Дуня сидя тут же задремывает под мерный рассказ. Голова ее клонится, клонится, и даже храп раздается.

— Ты чего не слухаешь, спишь?! — окликает ее Миколавна.

Тетка Дуня вскидывается и говорит в свое оправдание:

— Ныне, гутарят, такая и смерть будет: поснем все — и конец.

— Кто гутарит?

— Люди. В магазине, в очереди.

— Брешут они. А в каком магазине?

— Возле станции.

— Ты и туда добралась?

— С бутылками. Мишка два мешка притянул. Говорит, сдай. А в нашем магазине не берут их. И на площади не берут. Пришлось туда переть.

Мишка — это сын тетки Дуни. У нее две дочери, сын. Все отдельно живут.

— Здоровье у тебя хорошее, — говорит Миколавна, — вот ты и прешь.

— Откель? — слабо протестует тетка Дуня. — Ныне с утра под лопатку ширяет. Ширь да ширь, ширь да ширь.

— Мало ширяет. Надо бы — до болятки, — свое гнет Миколавна. — Не жалься. Хорошее у тебя здоровье, прямо кониное.

Это уже — обида. Трудно ее стерпеть. Но приходится. Тетка Дуня терпит, горько вздыхая, склоняя седую голову.

— Кониное… — бьет и бьет ее Миколавна. — У меня вот здоровья нет, я дома сижу. А ты — как на шильях, с утра до ночи скачешь и скачешь.

— Сравнила… — дрогнул тетки Дунин голос. — Меня нужда гонит. Кабы не нужда…

В этом вся суть: Миколавна — богатая, а тетка Дуня —

бедная. Потому и носит чужие горшки. Это понятно всем.

— Денег мне хватит, — при случае говорит Миколавна. — И еще останутся.

Наши люди и впрямь живут небогато, но еще и прибедниться не прочь, чтобы не гневить Бога. Миколавна же напрямик режет: «Мне денег за глаза… Еще и останутся».

Вся улица знает: так оно и есть. В голодные годы, после войны, Миколавна работала в столовой, при хлебе. Потом всю жизнь торговала. Тогда это называлось спекуляцией. Так ее за глаза и величали — «спекулянтка проклятая». Теперь это дело обычное: поехать в Москву, тряпок купить, в поселке их продать подороже. Прежде такое занятие осуждалось и даже преследовалось по статье уголовной. Миколавна кого надо из милицейских кормила да поила. Берегли ее. И она ездила в Москву, в Ленинград, в Прибалтику, привозила оттуда ковры, обувь, одежду. В нашем старом доме до сих пор висит немецкий ковер с оленями. Покупали у Миколавны. Еще, я помню, долго носил зеленые шаровары «с начесом». Тоже из ее рук. Наши магазины в поселке были бедны, а уж про хуторские, окрестные, нечего и говорить. По хуторам Миколавна и ездила. Откуда у колхозников деньги? У них — трудодни. Она и «благодетельствовала», меняя привезенное добро на масло, сало, козий пух, пряжу, яички. Пряли на нее и вязали. Теплые перчатки, носки, пуховые платки, береты ехали с Миколавной на край света, на Север, к людям денежным. Оттуда везла меховые воротники. Не в поселок наш, Богом забытый, а к грузинам, в Тбилиси. Оттуда — товар иной. Колесом шли дела, ходором.

Другая статья дохода — огород. Он у Миколавны — немереный. Была в силах, то справа, то слева у соседей прихватывала, в задах прирезала немалый кус. Покойный мужик ее на этой земле все долгое лето мытарился. Одной картошки до двадцати мешков накапывали; помидоры да огурцы первыми на продажу везли. Туда же — яблоки, абрикосы, виноград. Но умер старик, у Миколавны ноги стали отказывать. Тут она и осела. Началась обычная старость. Но вся улица знала: Миколавна богатая.

А тетка Дуня всегда считалась бедной. Работала уборщицей, муж — шоферил, двух дочерей и сына они растили. Овдовев и пенсию уже получая, тетка Дуня подрабатывала там и здесь: мыла полы в конторах, топила печи. Дело в том, что огород у тетки Дуни — две грядочки да пара рядов картошки. Это по-настоящему изъян великий. От земли живем. А уж старики-пенсионеры тем более. Круглый год своим кормятся: картошка, капуста, лук, огурцы и прочее. Кормятся, да еще и на базар несут — к пенсии

добавка. У тетки Дуни земли — с гулькин нос, вот она и скачет, и к Миколавне прилепилась, вначале вроде по-соседски, а теперь — «милосердия». Какая ни на есть, а копейка.

— Мою милосердию не видал? Увеялась — и знаку нет.

Днем бывает по-всякому. Но рано утром и к вечеру шлепают через улицу тетки Дунины калоши — «милосердия» прибыла.

— Любит она со мной завтракать и ужинать, — не таясь, объявляет Миколавна.

Тихий вечер. Тишина смыкается над дворами и улицей. В зарослях смородины, вишен да слив густеют ранние сумерки. В соседнем дворе готовятся к позднему чаю. Недвижная Миколавна: круглое пухлое лицо ее, словно летняя луна большая. Короткие команды:

— Столик ближе подвинь. Еще чуток.

— Каймак в холодильнике. Там щи старые, себе забери.

— Булки принеси.

— Колбасу. И яички вареные. Поем, а то в желудке нехорошо. Весь день не было аппетита.

— Молоко неси, забелить.

Тетке Дуне дважды повторять не надо. Она — скок да скок, шлеп да шлеп калошами: в коридор, в хату, к холодильнику. Все она знает. Не первый день при Миколавне, не первый год.

— Гляди крутым кипятком заваривай. Да ополосни.

— А булки принесла столешние.

— Истинный крест, Миколавна: только сгрузили, машина лишь подъехала, и я взяла, — оправдывается тетка Дуня.

— Закоржанелые. Топором не урубишь. Ты же все заторопом да лётом. Мясо купила — одни мослы. Лишь кобелю грызть. И ты не обижайся, я правду говорю. Я привыкла правду — в глаза.

— Истинный крест, Миколавна. Я вроде глядела…

— Не знаю, куда ты глядела, а мослов набрала.

Угодить Миколавне трудно.

— Так и сыскивает, так и сыскивает ежеминутно… Свекруха… — жалуется порой тетка Дуня.

Люди сторонние, уличные, ей сочувствуют, зная Миколавнин характер. Свои же, родные, отвечают просто: «Сто раз говорено: хватит чужие горшки выносить. Чего тебе не хватает? Пенсия есть. Живи себе». Тетка Дуня молчит, лишь вздыхает. И чуть свет спешит к Миколавне:

— Ты живая?

— Да вроде… А ночь не спала.

Миколавна — человек одинокий. Поразмыслив, решила она искать опору: «Чтобы было кому воды поднесть…» Родня ее — седьмая вода на киселе: двоюродная племянница с детьми да со

стороны покойного мужа — такие же внучата. Но уж какие есть. Других на базаре не купишь.

Надо заметить, что Миколавне повезло. Как говорится, кому — война, а кому — мать родна. Новые времена пришли: цены полезли дуром, а тут еще беженцы со всех сторон — на дома поднимают цены. Раньше, бывало, помрет человек одинокий, в хате ставни закроют, и стоит она, никому не нужна. Нынче любая хибара — в драку, миллионы за нее дают. За родительские дома дети дерутся да судятся, ссорятся навек. У Миколавны дом завидный: кирпичный, высокий, под шифером, на улицу — три окна. Богатство немалое, если продать. Тем более что усадьба богатая — земли много.

Сговорились с племянницей: она ухаживает, докармливает Миколавну дом берет после смерти. Съездили к нотариусу, бумагу подписали.

Толстая, поперек себя шире, племянница хорошо, если в неделю раз прибредала к тетке. Приходила, охала, жалуясь на здоровье. Миколавна потом весь день бурчала:

— Помогальщица… Слезы лить… Обещали стирать, полы банить. Потонешь в грязи с такими помогальщиками.

Тетка Дуня подпевала ей:

— Непочетники… Такое счастье им в руки, такое богатство… В ножки бы, в ножки всякий день кланяться да Бога молить. А если ты больная, зачем соглашалась, подписывала документ? Дом тебе нужен, а старый человек — хоть помри… А в огороде — глядеть тошно. Одни бурьяны растут.

— Она и приходит лишь с проверкой: может, я подохла, — догадывалась Миколавна.

— Непочетники… — страдала за Миколавну тетка Дуня. — Ты — больная. А дочка твоя — кобыла здоровая. Почему не прийти?.. Такое богатство ей… Непочетники… В проулке Вера-хромая живет, на чужих записала дом. Они ей кажденно везут слаженого да соложеного. Потому что почитают. А твои — непочетники, лодыри. Такой огород пустует, столько земли… Лишь работай.

Племянница скоро была отставлена. На место ее явились претенденты новые, тоже неблизкая родня ли, свойство, но люди молодые — супружеская пара с детьми.

— Нотариуса привозили. Племянницу ликвидировали. Теперь все на этих будет, на новых. Они — хозяева, — сообщала тетка Дуня народу любопытному.

Во дворе нашем, поглядывая на забор, она шептала с горечью:

— Обдурят они ее, обдурят… Повыманят все, а бабку — в дурдом. А мне что?.. Не век чужие горшки выносить. Да еще

сыскивает. Мне дочери давно говорят: бросай. И кину. Пойду в собес, заявлю: снимите колоду. Чужие хвосты заносить несладко. Вечно чего-то плетет. То банки у нее пропали, то навоз. Брошу и буду спокойно жить.

К Миколавне тетка Дуня стала ходить реже, отвечая на ее укоры: «У тебя теперь есть помогальщики». Но к нам во двор стала прибегать чаще. И не столько нас проведать, сколько к соседям заглянуть.

— Как там? Новые-то… — И, не дожидаясь ответу, кралась к забору, приникая к щелям его: — В огороде чего сажают?

Новые хозяева ли, наследники приезжали на машине порой вечерней, после работы. Не всякий день, но бывали. Посадили картошку, другие овощи. Приезжали обычно с детьми, и в соседском дворе делалось шумно. Но ненадолго. Ведь у них был свой дом, свой огород, свои заботы. Так что подолгу у Миколавны они не рассиживались, навещая и помогая набегом. И потому в скором времени тетка Дуня стала наведываться к соседке. Хлеб из магазина несла, молоко, чаевничала, передавала новости все, как прежде. В речах не скрывала осужденья:

— Уж не хотела тебя расстраивать, а душа не терпит. Разве так картошку сажают? От рядка к рядку хоть аукайся. Подсказала бы им…

— Я подсказывала… — оправдывалась Миколавна. — Они рукой машут.

— В ножки бы поклониться… — вздыхала тетка Дуня. — Такое добро. И обязаны слухать тебя. Ты — хозяйка. Такое поместье, такая земля пропадает задаром.

Тетка Дуня уходит и приходит, шлепая калошами. Речи все те же:

— Не приезжали? Вот так никому мы не нужны. Огород сохнет, травой зарастает… Чего вырастет?

— Вроде воду качали… — заступается Миколавна. — Толклись там.

— Вот то-то и оно, что толклись… Чужое, оно чужое и есть… Капусту червяк поел, морковку трава забила.

День ото дня вечерние речи горше и откровеннее:

— Глядела я… Полы моет. Лужей нальет. Журчит вода под плинтуса. И чего это будет? Погниет все.

— Машина эта… То заедет, то выедет — всякий день. Скрип да скрип ворота, скрип да скрип. А потом — оторвутся. Будем со всем белым светом жить: все собаки — наши, все кошки, все алкаши, какие по улицам бродят, все цыгане… Отбейся тогда от них.

— Желудок у тебя слабый, больной. А они в тебя — котлеты

да котлеты, котлеты да котлеты… Это до поры.

И самое главное — про огород:

— Не хотела тебя расстраивать, а душа не терпит. Какое богатство, а все — в распыл. Картошка еле дышит, лишь взошла, а желтая, вощаная. На помидорах и цвету нет. Огурцы вылезли и стоят. А люди уже на базар несут, и цены хорошие. А тебе на погляд нету, еще и покупать придется, от пенсии копеечку отрывать. Да-да! Зато травы, бурьянов развели темный лес. Волков водить. Потому что ты молчишь, а они — бессовестные…

— Я подсказывала, — оправдывается Миколавна. — Они рукой машут.

— Потому что бессовестные… Такое поместье испоганили, такое богатство… Скрозь пальцы течет…

Вечерние песни, они не нынче, так завтра свое берут: «Не хотела тебя расстраивать, но как промолчать… Ты сама потом будешь упрекать».

В середине лета помогальщики ли, наследники от огорода были отставлены напрочь. К Миколавне они стали ездить реже, в огород — ни ногой. Хозяйничала там тетка Дуня. И теперь калоши ее шлепали к соседскому двору в час вовсе ранний. Шлеп-шлеп-шлеп — мимо Миколавны, прямиком в огород. А тот огород лишь доброму трактору под силу.

Тетка Дуня же словно век земли не видала:

— Поздней капусты посажу…

— Помидоры семечками… — взахлеб спрашивала ли, извещала она Миколавну.

— Сажай. Меньше мыкаться будешь.

— Сажай. Может, прищемишь хвост.

Тетку Дуню торопило время — месяц июль и словно молодой азарт поджигал: наверстать упущенное.

На пустой земле уже поднялась, крепко укоренясь, сочная лебеда, жиловатая конопля — хоть прячься там. Тетка Дуня дергала траву руками с корнем, отвоевывая за пядью пядь.

— Баклажанов… На зиму закрутить.

— Картошки… Она успеет…

А нынешнее лето — сухое, знойное. Термометры день ото дня стараются: тридцать четыре да тридцать пять. Это — в тени. На солнце и вовсе пекло. Тетке Дуне и жара не помеха. Шлеп да шлеп калошами. За неделю она вовсе высохла, почернела и сделалась словно галка.

Дети стали ругаться:

— Тебе это надо? Годы свои хоть считаешь?

— Земля-то гуляет, — вначале оправдывалась она. — Помаленьку копаюсь. Что мне, перину мять? — А потом на

приступ пошла: — Жалельщики! Сами зимой летите три раза на дню: «Ой, мама, томату дай… Ой, мама, у тебя огурцы расхорошие». Дай да дай.

Дети от нее отступились, а Миколавна ругается:

— Милосердия называется… Огородница… Проскакала — и нет ее. Ни здравствуй, ни прощай.

Миколавна ругается, колотит костылем по ведру — знак условный. Ведро громыхает и катится. А тетка Дуня — далеко, в конце огорода, не слышит ли, не хочет слышать.

— Делучая… Вот не дам воды, будет знать, — пугает Миколавна.

С водой в соседском дворе беда. Старинный качок еле чвиркает, добывая за каплей каплю. У всех теперь электронасосы «Камы» да «Агидели», шланги да трубы змеятся по огородам. Нажал кнопку — и бьет струя.

Тетка Дуня ведрами поливает. Утром, когда еще в силах, таскает по два ведра, вечером одно еле волокет. Все же семьдесят лет — это возраст. Тем более — такая жара.

Вечерние посиделки в соседском дворе теперь короче.

Миколавна, как и прежде, рассказывает о жизни далекой, из телефильма:

— Она к нему имеет симпатию, а он — женатый, детный…

Тетка Дуня дремлет под мерную речь, порою всхрапывает, сразу просыпаясь. А въяве не чужие страсти ее тревожат, а свое, огородное. И она вставляет невпопад:

— Новая напасть: зеленый червяк на капусте. Лист — как кружево.

Миколавна смолкает, ей нужно время, чтобы перебраться из жизни киношной в свою.

— Тертым табаком попытай, — советует она и продолжает прежний рассказ: — Он — детный, у ней — никого нет, а молодая, в соку…

Тетка Дуня снова задремывает, голова ее беспомощно валится на грудь.

— Спи иди… — говорит ей в конце концов Миколавна.

— Пойду, — соглашается тетка Дуня. — Так ныне заморилась, так заморилась…

— Заморилась она. Дур напал. В дощеку высохла, а жадаешь. Все тебе мало. Значит, здоровье хорошее. По такой жаре…

— Какое здоровье… Ныне полола. И враз в глазах — темная ночь, и все цветками пошло: красный, зеленый… Плывут и плывут. Белого света не вижу. На карачках к бане подлезла, в тенек, там отдыхалась, в память вошла. Так, видно, и помирают, — раздумчиво сказала она.

Миколавна поверила, укорять не стала. Мысли ее разом ушли в годы давние:

— Мы с мамочкой, бывало, на хуторе… Работаем, работаем. Огород большой, не сравнить. Работаем, работаем, а потом упадем под грушинку, в прохладу. Я падаю и по-мертвому сплю. Проснусь, а мамочки нет, она работает. И я — к ней. Девчонкой была…

Забыты страсти телевизионные: мексиканская любовь, война в Чечне — все в сторону. Рассказ о своем, о годах далеких, в которых — хутор Ерик, мамочка, большой огород. А при советской власти на хуторе сделали коммуну, забрали коров и раз в неделю давали детям молоко. Мамочка из него молочную кашу варила. Маленькая Миколавна любила такую кашу. Однажды спешила с молоком от фермы, споткнулась, упала, и крынка вдребезги. Долго плакала, потому что не будет молочной каши. И мамочка плакала, обещала: «Молочную козу заведем… Козу не возьмут в коммуну».

Так далеко это все. Но так памятно и так горько.

Потом тетка Дуня уходит. Миколавна долго сидит одна, что-то мурлычет, поет. Печально звучит ее голос в покойном вечереющем мире.

А по утрам в густых зарослях вишен и слив поет садовая славка: журчит и журчит ее нехитрая песнь. Потом торопливо шлепают через улицу калоши. Это тетка Дуня спешит, по прозвищу Милосердия.

— Миколавна, ты живая?

Начинается день.